

Самая обыкновенная безделица приобретает удивительный интерес, как только начинаешь скрывать ее от людей.

Оскар Уайльд

Всякую тайну можно так или иначе уз-
нать, можно выхватить ее из уст другого
человека ласками или пытками, но тай-
на будущего спрятана, утаена от нас так,
как будто никакого будущего и никакой
тайны и нет.

Нина Берберова



АНДРЕЙ

Слева — облезлая стена гаража. Справа — шершавый бетон панельной хрущевки. За спиной — узкая щель, воняющая дерьмом и блевотиной. Зажали. Все.

Он, конечно, нарывался. На уроки и обратно шел не безопасной дорогой, мимо универмага и химчистки, а хамырями. Проходя по школьному коридору, не опускал голову и не отводил глаза. Наказание за такую дерзость следовало неотвратимо, как день после ночи, как головная боль после пива, украденного из отцовских запасов: пендель, щипок, подзатыльник, мерзкие слова в спину. Но под внимательно-змеиными взглядами учителей его врагам было не развернуться. То ли дело загаженные пустыри, заросшие сорной травой, или полузаброшенные дороги с рожавыми «ракушками» по обочинам. Или, как сегодня, задняя стена обшарпанной хрущобы с зажмуренными глазами окон. Начало ноября. Середина буднего дня. Никто ничего не увидит и не услышит.

Он нарывался. Но сегодня для решающей встречи был категорически неудачный день. Андрей был в обновке — долгожданной, фасонистой. Куртку из мелкорубчатого импортного вельвета мать дошила

вчера поздно вечером. Повезло: одна из клиенток купила больше материала, чем нужно на костюм. Брали в Москве, за большие деньги, как сказала мать. Ширина у ткани была нестандартная, осталось много обрезков, которые благодарная заказчица забирать не стала. Даже не обрезков — роскошных лоскутов, из которых мать за пару вечеров соорудила Андрею куртку. Вчера она все гнала его в постель, но он ходил кругами — уже готовый ко сну, наспех умытый и с остатками мятного «Жемчуга» на зубах. «Ты только нос моешь. А щеки? А шею?» — мать отвлекалась от шитья и, лизнув носовой платок, оттирала с его лица то ли реальную, то ли воображаемую грязь. Андрей сердился, прятался в своей комнате, но потом снова вскакивал с кушетки и на цыпочках шел на кухню, где сидела за столом мать. Швейная машинка — старенькая, но надежная, подольский клон безотказного «Зингера», была уже зачехлена. Мать пришивала пуговицы, тоже шикарные, металлические, почти фирменные. Все, последняя! Он выхватил куртку из рук матери, надел — мгновенно! — и вышел в прихожую, к гардеробу с зеркальной дверцей. С синими сатиновыми трусами и клетчатыми тапками куртка, конечно, смотрелась не так чтобы очень. Надо бы джинсы, сапоги вроде ковбойских... Ну и ладно, вещь все равно получилась классная, рыжая, как львиная шкура. И что из лоскутов — совсем незаметно. Умеет мать, не зря заказы косяком идут. А карманы — объемные, с широкой обстрочкой — он придумал сам, точнее, подсмотрел у актера во французском боевике. Как там его?.. Да неважно! Андрей встал перед зеркалом прямо, повернулся в профиль, втянул живот и выдвинул челюсть.

— Ну что, доволен? — С кухни вышла мать, сно-ва что-то стерла с его щеки. — Когда ж ты умываться научишься? Такой большой, а...

— Нормально. Пасиб. Я надену завтра? — Уверты-ваясь от ее руки, неловко и болезненно изогнулся. Вельветовый воротник мягко прильнул к ней, будто обнял.

— А не застынешь? Вроде мороз обещали.

— Я свитер пододену. Все, я спать! — Последние слова он выкрикнул шепотом уже из своей комнаты. Там аккуратно снял куртку, повесил на спинку стула, сдвинул его ближе к изголовью кушетки. Приподнял один рукав и устроил рядом с подушкой, лег, положил руку на бархатистую ткань и моментально уснул.

Сейчас он стоял, зажатый в вонючем углу, и жалел только об одном: что не додумался снять обновку и сунуть в сумку. Напротив стояли враги. Их было трое: Калякин, Калашов и Никонов.

Заводилой был Петька Калякин, которого Андрей помнил пухлым малолеткой, шкодливым, но добродушным. Уже во втором классе Калякин сполз с неуверенных «четверок» на полновесные «тройки»; а в нынешнем восьмом не слишком успешно балансировал между «удом» и «неудом» по всем предметам, включая поведение. За последний год он сильно изменился: Андрею иногда казалось, что Петька вырос раза в два — и в высоту, и в ширину. Вечно какой-то замызганный, с огромными ногами в уродливых ботинках местной артели, с лицом, напоминающим разваренную картошку в мундире.

— Ну что, Барганов, допрыгался, говнюк? До-выступался, сморчок. Страшно, да? А ты не бойсь!

Мы тебя постепенно. Сначала вот Серёня тебя маленько...

Калашов, которого все и всегда называли только Серёней, внешне был полной противоположностью Калякина: стройный, даже изящный, невысокий — всего на полголовы выше самого Андрея, все восемь школьных лет стоявшего на физкультуре последним. Серёня неплохо учился; кажется, даже читал книжки. Только в лице его была какая-то мерзотность и почти неуловимая схожесть то ли с крысой, то ли с хорьком.

— Давай, Серёня, готовься! И ты, Никонов, тоже! Че ты там? Иди сюда, придурок!

Зачем Калякину в его свите понадобился Никонов — сутулый, почти горбатый парень с унылым лицом и непропорционально длинными руками, Андрей мог только догадываться. Похоже, Петьке просто нравилось иметь неограниченную власть, пусть даже над недоумком. Но ради этого терпеть Никонова? Каждый день, не только в школе, смотреть на его слюнявый полуоткрытый рот; на то, как длинными пальцами он без конца ковыряется в носу, вечно заложенном, делающим его голос тошнотворно гнусавым? А хуже всего было то, что Никонов жрал свои сопли! Андрея передернуло.

— Че дергаешься, Барганов? Страшно? Или холодно? Че, не греет куртей? Пацаны, прикиньте, какой у этого недомерка куртей модный! — Калякин смачно поцокал языком. — Откуда, Барганов? Папаша из Ма-асквы привез? Он же у тебя ма-асквич бывший, кажется? Или мамаша у клиентов матерьяльчик притырила? Моя мать говорит, что она от каждого заказа хоть кусочек, да урвет. Слыши, а твой папаша себе бабу по размеру подбирал — той же тараканьей породы?

Андрей молчал. И даже не шевелился. Только что-то дергалось над левым глазом и подрагивали губы. Не от страха. От слов, готовых сорваться с языка, от недавно обретенного знания, пока некрепкого, не проверенного настоящим делом. Еще даже не знания — подозрения.

— Никонов! — Калякин обернулся. — Ну, где ты там? Опять сопли жуешь? Мля, не подходи ко мне! Вытри руки, придурок! О! Точно! Давай, вытирай! Об куртейц баргановский! Мяконько будет! — Калякин заржал и, зайдя за спину Никонова, распяленной ладонью толкнул его на Андрея.

Ни увернуться, ни оттолкнуть Никонова Барганов не успел; вымазанные в слизи пальцы ткнулись куда-то в плечо. Или в грудь. Он не понял. Но именно это прикосновение сработало как спусковой крючок — и он заговорил, глядя Никонову прямо в лицо. Лицо человека, которого он, наверное, мог бы даже пожалеть — если б все сложилось иначе.

— Ты дебил, Никонов. Ты хоть догадываешься об этом? Хоть на это твоих убогих мозгов хватает? А знаешь, почему ты дебил? Потому что отец твой — алкаш. И всегда был алкашом, и мать твоя боялась от него рожать, потому что от алкашей только дебилы рождаются!

Уже после первых слов Никонов стал пятиться, не отводя от Андрея широко раскрытых, почти выпущенных глаз. Двигался он медленно — будто хотел непременно дослушать до конца.

— Ты, Никонов, уже так свою мать достал, что она тебя в интернат для дефективных хочет сдать. И будут там тебя всякой дрянью колоть. И проживешь ты там, Никонов, всю свою жизнь и сдохнешь там, при-

вязанный к кровати, никому не нужный, вообще никому!

Последнюю фразу Андрей почти выкрикнул и, казалось, вместе со словами вытолкнул из легких весь воздух, весь до последнего глотка. На мгновенье дыхание перехватило. На долю мгновения.

— Так. Кто там у нас следующий? Серёня у нас следующий!

Никонов, сообразивший, что с ним разговор закончен, сказал в пространство — с паузами, будто во сне: «Мне домой. Я домой» и побрел прочь. Калякин что-то буркнул ему в спину, но потом махнул ручищай и посмотрел на Барганова удивленно и даже как-то весело.

— А ты, смотрю, осмелел, сморчок. Разговорился. Все, что ль? Ну, ща получишь свое! Серёня!

— А вот это правильно. Сейчас Серёня, а потом и до тебя очередь дойдет.

«Правду говорить легко и приятно», — вспомнил Андрей. Отец часто говорил эту фразу, когда уговаривал его признаться в чем-нибудь постыдном. Вроде это из какой-то знаменитой книги. Андрей не читал и отцу не верил, а зря. Так и есть.

— Ага, Серёня. Он у нас ссыкун. Ты знал, Калякин, что твой лучший друг ссытся в постель каждую ночь? И под простыней у него — у тебя, Серёня! — kleenка, как у сосунка. И как же тебе в институт ехать поступать? В общаге-то как? Тоже kleenку подстилать? А с бабой в койку как? Заснули сухие, проснулись — в луже! Мать тебя по врачам таскает, только без толку. Всю жизнь будешь ссаться и мочой вонять!

Остолбеневший Калашов вдруг очнулся, кинулся на Андрея, дал под дых, потом с размаху вмазал по

лицу, стал совать мелкие кулаки в подбородок, в скучлы, в нос. На верхнюю губу Андрея потекло горячее и соленое, и он засмеялся разбитым ртом.

— Ну, Калякин, вот и твоя очередь пришла!

— Заткнись, гад! Молчи, гнида! — Петька пытался отодвинуть от Андрея мельтешащего Серёню, задвигая их обоих в тесный вонючий угол.

— Эй, нет! — Андрей потянул носом кровавую жижу, сглотнул, ощерился. Он был сейчас как перегретый паровой котел: давление росло, распирало изнутри грудную клетку и гортань, давило на небо, добавляя голосу вибрирующих обертонаў. — У твоего отца, Петька, рак. И осталось ему пару месяцев, не больше. А тебе не сказали! Потому что ты, Петька, отца любишь. Он же герой у тебя! Танкист бывший, в Афгане воевал. Ты же любишь его, да? Он, может, единственный человек на земле, кого ты любишь. Мать-то твою за что любить? Все знают, что она гуляющая и спит в гостинице с командировочными, когда на смену выходит. Скоро ты, Петька, с одной только матерью останешься...

Калякин бил Андрея ногами, заодно попадая по Серёне. Тот в конце концов отполз в сторону; сидел, скорчившись, на земле и подывал. Калякин тоже, кажется, плакал — если считать плачем хриплый звериный вой, который Андрей слышал сквозь грохот в ушах. Пульс бил в барабанные перепонки одновременно торжественно и тревожно. Но он удачно упал: кувалды калякинских ног не доставали до головы, били в основном по нижней части свернувшегося в почти клубок тела. Но и туда взбешенный, слепой от ярости и боли Калякин попадал через раз: ватные удары по живой плоти чередовались с беззвучной

долбежкой по стене хрущевки; каждая встреча тяжелых ботинок с металлом гаража знаменовалась дребезжанием, переходящим в гулкий, почти колокольный звон. Этот набат спас Андрея от смерти: рано или поздно Калякин, конечно, догадался бы пустить в ход руки-оглобли и вытащить врага из спасительной щели. Но тут над их головами с треском распахнулось окно, и визгливый голос проорал:

— Пошли вон, недоноски! Нет покою от вас, выродки! Каждый день кому-то морду бьют!

Вопли из окна произвели на Калякина эффект, противоположный тому, на который, видимо, рассчитывала нечаянная Андреева защитница: он стал молотить по врагу чаще и прицельнее.

— Вон пошли, вон, во-о-он! Милицию вызову! Милиция, милиция! Ноль-два! Ноль-два! Набираю, набираю уже!

Надежда на скорое окончание экзекуции подействовала на Андрея как анестезия: пинки отдавались уже не болью, а сгустками жара. Вспыхнув в ногах, они прокатывались по телу, разлетались жалящими искрами внутри черепа; и на какое-то время Андрей перестал воспринимать реальность и себя в ней. А когда очнулся, понял, что стало тихо.

Он выбрался из расщелины между гаражом и стенной дома, поднялся на слабые ноги, медленно прошел несколько метров. Подобрал свою сумку. Достал первую попавшуюся тетрадь, вырвал несколько страниц, морщась, обтер лицо, высморкался. Посмотрел вверх: солнца видно не было, но свет пробивался сквозь туманную пелену и заставлял щуриться. Сузив глаза, Андрей глядел на низкое белесое небо — долго, пока с лица не сошла неосознаваемая гримаса боли. Опу-

стив голову, он заметил в окне плохо различимое лицо и улыбнулся ему разбитыми губами. Цветастая штора задернулась резко, со странным звоном, слышным даже через стекло.

Он снянул с себя куртку, бросил ее на землю, тут же, рядом с клетчатыми листками, густо усеянными кровавыми кляксами. И потом, позже, он ни разу не купил и не сшил себе ни одной вещи из вельвета. Но в 1999 году вышла песня, которую он полюбил сразу и навсегда: Сантьяго и Роб Томас, «Smooth». Если б звуки можно было потрогать руками, эта музыка на ощупь была бы точь-в-точь как та куртка: рыжая, мягкая, в бархатистый рубчик. С пустыря, где осталась лежать его изгаженная обновка, Андрей шел в одном свитере, со вкусом крови во рту и твердой уверенностью в том, что его побили в последний раз. Потому что тех, кого боятся, не бьют. Сторонятся. Ненавидят. Могут убить. Но не бьют.

Дома никого не было: отец уехал в какой-то колхоз за материалом, мать минимум до шести на работе. Прямо в коридоре Андрей разделся до белья, сваливая грязную одежду на пол; встал перед зеркальной дверцей гардероба. На разбитое лицо смотреть было неприятно, но он смотрел. И на него из зеркала жестко и внимательно глянул кто-то новый, еще вчера не знакомый. Не отводя взгляда, Андрей одним движением дернул вниз трусы, переступил через них, ногой откинулся в сторону синюю сатиновую тряпку. Линолеум приятно холодил горящие ступни.

Он рассматривал свое тело как чужое: рассудочно, отстраненно, почти равнодушно. На ногах, на бедрах — бордово-черные пятна. Есть и на груди, но немного. Он повел плечами, глубоко вздохнул. Кости